

# Короли ацетона. Часть первая. АМЕРИКАНСКИЕ ПИСЬМА

## ГЛАВА I

### ПЛОТНОСТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ

1. Ты видишь стремительный фильм, который так быстро захватывается тебя, что успеваешь вспомнить напоследок только один эпизод из прошлого, вернее – не эпизод, а зрительный, то есть, слуховой ландшафт, растворяющийся, просыпающийся, как голый песок с камня: как тихо на Сайме ночью поют невидные, неизвестные животные, результаты незнакомого воображения беспокойно засыпающего человека, который, конечно уже не ты. Тогда крики совы или лай лисицы, или плеск воды, взбиваемой в схватке рыб, – надвигаются вплотную: и видишь лицо звука в окоченевших, схваченных полуторастолетним инеем зеркальных осколках ветра. Их укрывает песок, льющийся, как вода, и тогда всё окончательно меняется, становясь на свои места, оборачиваясь настоящей противоположностью. Но медленно проходя вдоль зимних заборов, оборачиваясь поминутно вокруг своей оси потребное для магического обескровливающего ритуала количество раз, всматриваясь в уродливым узорчатым инеем изъеденные линзы глаз, – приходит – и приносит своё неназываемое имя тот, кого больше всего ждал ты, и отдаёт то, что немедленно тебя уничтожит. Так, обращаясь в непрерывную сновидческую цепь, настигает призванное бездвижным неистовством будущее, – не оставив от себя и следа, словно ничего не было, как семь тысяч лет назад, падает в песок глиняный осколок – но лишь для того, чтобы ты нашёл его, тихой кисточкой расчистив упавшее зеркало, зорко всмотревшись в рисунок на глине, различил свой точный, точёный, прекрасный профиль, в который нельзя не влюбиться снова и опять – тебе самому, иначе вернёшься в песок, прекратишься, станешь бесповоротно, ядовито вечен.

2. Камень – оружие земли, простирающейся под жёлтым туманом от горизонта до горизонта; серая корка, образующая слой твёрдого, несокрушимого с виду наста, истёрлась бы в пыль от любого прикосновения, кроме прикосновений тумана. – Некому сделать шаг, совершить разрушительное прикосновение. Тогда корке остаётся расти, насту – утолщаться, простираясь в любую сторону до бесконечности. Вплоть до отсутствия предела. Обрываясь лишь с одного края: в месте, где слышен шорох отъединяющихся, исчезающих в темноте провала песчинок, комьев – сгустков серой породы. Внизу они исчезают, поглощаемые темнотой, неслышно несущимися потоками воды или предполагаемой волей быть поглощёнными. Волей срываться вниз, будто уменьшая на ничтожную долю поверхность наста, край которого уступает провалу не равномерно, но неровно, зубчато: как будто вещество поверхности состоит из фракций, подверженных разрушению в неравной мере. Перемещения тумана, создающие подобие – приблизительную модель – ветра, не ускоряют разрушение поверхности у обрыва: скорее, фиксируют непрерывное, ничем не управляемое сокращение, уничтожение частиц серой породы в глубине (высоте?) провала. – Над ветром (и тьмой, предполагаемой тьмой небес)

есть тонкая прослойка огня («тонкая» с учётом ветра и тьмы, но – обезоруживающая любое представление о «тонкости»): милая себе, кружащаяся в непримечательном танце, поглощает любое всё. Над ней, пересекая волю к описанию, простираются последующие слои. – Представление о чёрном как бесцветном становится неверным, когда абсолютное отсутствие распределяется по градациям густоты, плотности уничтожения.

## ВСПОМНИТЬ ТРАНСИЛЬВАНИЮ

1. Теперь он только спал: возможности памяти, не безграничные, всё чаще подводили, внушая бессилие отчаяния, всё прочее же было целиком безразлично. Иногда, просыпаясь или засыпая, она видела смутный тягучий фильм, сменяющие друг друга картинки, обранные индивидуальной болью, – словно семейный фотоальбом, но такой, в котором ни одного знакомого лица, и даже – ни одного лица вообще. Только конфигурации густоты. Только извивающиеся, как, подчас, рыбы, снопы белого выламывающегося из-под земли вещества, поглощающего звук и свет; нужно – для начала, в приступе воображения – совершить следующий шаг. Тогда он увидел себя живым – бредущим в пылающем лесу, по устеленной свежим снегом тропинке, с бритвой и магнитофоном, с циркулем в кармане, котом в чемодане, и так, добредя, входящим в покинутый, ледяным звуком осиянный деревянный дом, где электричество не ночевало, окна заколочены, мышеловки под иконами, замок навешен, уже сорванный, и где, войдя, видит: дождавшись, все собравшиеся протягивают на тёплых простёртых ладонях алые леденцы, и он берёт их, кладёт в рот, утрачивая любые чувства от схватившей за горло сладости, – и замечает, что вид за окнами домика тронулся и замелькал – словно поезд набирает скорость. А утром, когда они всё-таки отчего-то просыпаются вместе, она понимает, что видит его в последний раз, и это ей – верная смерть. Он же – что видит её не впервые, но всё же никак не вспомнит, кто она, любит ли её, отчего она в его постели? И как только беспробудный сон сменяет светлую бессонницу, как только последняя памятная речная монетка исчезает под свинцовыми листьями океанической воды, и, распустившись в небе фиолетового узлами дыма, звучит и восходит в пепел обращённая луна, – только тогда, в шубе из выдр, кокошнике из анаконд, с чемоданом, саблей и салом, – приходит тот, кто говорит. Приходит и говорит.

2. Доктор Мабузе. Тысяча глаз изъедены искусственным дымом, больше ничего не вижу, возьму этот камень и разломаю руку, чтобы никогда не позвонить тебе, что дальше?

Доктор Калигари. Отмыться от крови. Вспомнить Трансильванию. Отчего у Карло Кривелли огурец – размером с Иисуса Христа и растёт на одной ветке с яблоком?

Вероника Фосс. Змеи покидают мои глаза. Черви покидают мои уши. Зачем ты покидаешь моё сердце?

Петра фон Кант. Я вижу тебя сейчас. Спокойно, уверенно, тихо – идёшь по аллее навстречу волчьим собакам, листьям ветра, голым птицам, густому воздуху бензоколонок, приятному “*Morning!*” незнакомого пи-эйч-ди, влекомого лёгкой нехваткой денег, непреходящим чувством голода, трезвости, свежести, тревоги, – но где ты сейчас? Какие обстоятельства могут вмешаться в отлаженный быт многообещающего

молодого преподавателя? Иногда, перебирая прежние вещи, нахожу упаковку презервативов, которую ты оставил, зачем она мне теперь? – Тогда плачу, и не замечаю, когда слёзы перестают течь. И не замечаю, когда вновь начинают. И тогда подхожу к окну, смотрю туда, чтобы забыться, чтобы забыть себя, – пока не стемнеет, пока в глазах не потемнеет от слёз. А потом – стою у пустого окна, как по ту сторону погасшего экрана, и вспоминаю всё, чего нет: звенящие звёзды, игрушечные крейсера, мёртвые лодки, счастливые люди, твои бесконечно прекрасные руки, – мягкие как пух, белые как слёзы, тёплые как бумага...

Но с ф е р а т у . Что дальше?

А г и р р е . Отмыться до крови.

## БРИТВА И МАГНИТОФОН

1. Прекратить мысль о тебе, – записал, глядя с восемнадцатого этажа, замерев под секвойями, слегка подсакивая при очередном шаге, укутываясь, рассыпаясь серебряной пылью снега над ртутным листом San Francisco Bay, – словно изготовившись для невозможного, уже совершённого прыжка в темноту. Где закончилось, положив предел любому вопрошанию, беспрестанное ожидание. Где механические листопады сменились неисчерпаемым летом, в которое только погружаешь кончики пальцев, и, обессиленный тем наркозом, откуда уже не вынырнешь оценить преимущества необратимых хирургических преобразований, взрываешься внутренней болью: если тысяча ушибти, упраздняя отличие земли от неба, произнесут неизбежное имя, и мембраны треугольных испепеливших глаза солнц, этой чёрной пылью усеяв от горизонта до горизонта синеву небес, – сотрут и уничтожат твой образ. Тогда, двинувшись вспять, всё начнётся с начала: глотая невидимый железный ключ, вернётся вечерний апрель, остановится над островами несомый песок, будто застигнутый фотовспышкой, и разорвётся, треснув на склейке, плёнка, прервав пленительное кино, – и будет май, и докучное сердце остановится на 38 секунд.

2. В-третьих, насилием литер, выпадающих тлению сновидческой волны: как угодно – и никак иначе. Покуда подступает разбитое принципу равного стяжением света (иначе ли тьму одинокие встречают звери!), т.к. ловить меланхолический отзвук вопроса? «До которого часа пущенный вразлёт анатомии снежных семян, зверю же – ушедшая в упругий винт, в штопор ли безоглядный?» – был ответ. *Свинцовым*, – говорит литература, – небо стало. *Свинцовым* стало оно, как только тебя не стало. *Свинцовым* было оно всегда, но не видел. Что легче стократ бродить по нему в волчий час, чем сказать, отчего отсутствие твоё столь нестерпимо – как если бы зубы были мягче пуха, а пища твёрже железа, ergo? – Видит край, отказ глазам, скат почерневшей небу, расположенный камню обрывов; утопая в глубине провала, в три падения оступаясь: «*Говорил тебе?* – были слова. – *Услышавший глух*». Покуда ноге соскользнуть, мёртв яд вернувшегося вопля: «*Плохи дела твои, Небо?*». И отвечал, рождаясь, воплю живущий: «Свинцовым стало оно, лишь только тебя не стало. Свинцовым было оно всегда, но – не видел. Свинцовыми стали слова, но – не ближе к небу. Незаметное, невозможное, градации последовательностей. Повторение – утрата? Фотография – гастроль смерти?» – Парни были в матросках, т.к.,

по-видимому, и т.д.

## ГЛАВА II

### МАНГОВОЕ МОРОЖЕНОЕ

1. С течением времени монастырское кладбище объединилось с кладбищем психоневрологического интерната имени Плеханова. Теперь на месте обоих кладбищ – пустая чёрная земля, взрыхлённая кое-где следами автомобилей, тракторов, лошадей, встречаются также некрупные лужи, вкрапления гравия, неглубокие, но отчётливые следы, ведущие прочь, сначала раздваиваясь, затем снова раздваиваясь, крупное четвероногое животное либо компания из двух людей оставила их. Следы движутся на запад, пересекая бывшее кладбище по диагонали, их производят двое мужчин в длинных серо-зелёных плащах, они идут очень быстро, стараясь оставаться неприметными, выполняя это условие настолько искусно, что, наблюдая из окна жилого четырёхэтажного дома, с железнодорожной насыпи или даже с дерева, не сразу получится заметить их, а если заметишь, то не поймёшь, что они движутся спешно, но – в лучшем случае – спокойно прогуливаются, если не вовсе стоят на месте, переминая ногами в блестящих ботинках мокрую грязь бывшего кладбища. На самом деле оба стремительно движутся, всё быстрее и быстрее, и, уже почти перейдя на бег, погружаются в небольшую рощу, окаймляющую кладбище, то есть, пустырь. Углубившись в рощу, мужчины останавливаются, в сумме на обоих приходится 50 лет, что не имеет ни малейшего значения в тот момент, когда один, пониже ростом и покрепче, наносит своему спутнику пощёчину, затем бьёт кулаком в грудь, хватая за волосы и что есть сил рвёт в разные стороны, выдёргивая клочки волос. Второй не оказывает никакого сопротивления, падает на грязные мокрые листья рощицы и, беззвучно скрючившись в эмбриональной позе, вздрагивает от боли, пока товарищ бьёт ногой в живот, в грудь и между ног. Избиение длится несколько минут. Помочившись избитому на лицо, мужчина закуривает. Его друг, поднявшись с земли, тоже берёт сигарету, и вдвоём они выкуривают всю пачку. Ни словом не обмолвившись, они покидают рощу всё тем же быстрым шагом, переходящим в бег, что со стороны покажется любому неторопливой приятельской прогулкой, топтанием на месте двух почти неотличимых людей.

2. В последний рабочий день месяца она выходит в пустую офисную кухню, где остаётся наконец одна, чтобы выкрасть два небольших жёлтых брикетика – манговое мороженое: так сильно она ненавидит своих коллег-американцев. Даже больше, чем бывших соотечественников. А впрочем, всех одинаково. Вдруг кто-то входит, и она молниеносным броском укрывает брикеты салфеткой: нет, никто не вошёл, просто показалось; и тогда она думает о том, что Майкл, владелец брикетов, – симпатичный парень. У него дома – прикованный к инвалидному креслу бойфренд, которого Майкл в качестве подарка на день рождения возит на кулинарные курсы... Но что же делать, что же мне делать, если так их всех ненавижу, что выкрала и съела эти жёлтые брикеты мангового мороженого, – совсем как в девять лет, когда залезла в холодильник в больнице

и ухитрилась незаметно похитить банку абрикосового варенья и опустошила её в одиночку, а потом опасалась, что вычислят – и расскажут всё матери, и казалось, что каждое слово людей в белых халатах изобличает меня... Прошло двадцать лет... Теперь уже не поймают! Я говорил тебе про своего дядю, материного брата, которого знал слишком мало, потому что он держался всегда один, потому что, я чувствовал, как сильно он любит меня – по-своему, незаконно. Мы проснулись тогда с матерью августовским утром – и вышли во двор, солнце сияло, и одного неба было для солнца мало, и знали, что в поле так зелено и ветрено, что сама луна стоит в небе рядом с солнцем и не может оторвать взгляда от леса и луга, от вечных сосен и старинных дач, от рыб в пруду и асфальтового ручья, и узкой просеки, и колодцев с серебряной водой... Но всё это почернело и рухнуло в тот миг, когда увидели дядю, материного брата, так сильно любившего меня, бегущим по дороге прочь, в бессознательном уже припадке, разбрызгивая кровь из рассечённого горла, орошая траву и дорогу, и трясущийся деревянный мостик, с которого свалился в канаву, чтобы там утихнуть – утешить, успокоить, остановить наконец своё страшное сердце. От ужаса мы едва могли понять, что происходит, а он уже был мёртв. А когда поняли, что он пил всю ночь и что утром, лишь солнце взошло, раскромсал себе горло ржавой ножовкой, – было до такой степени поздно, что осень не наступила уже никогда, а только сразу – вечная жгучая зима... Я рассказываю тебе об этом, потом долго молчу, потому что пришло последнее утро перед твоим окончательным исчезновением. Ты садишься ко мне на колени, словно бы для того, чтоб утешить, и говоришь, что теперь, когда уедешь, мне останется только одно: положить голову в духовку и пустить газ. Совсем как Сильвия Плат, понимаешь, совсем как эта смешная, уморительная Сильвия Плат, о боже, что может быть забавнее!.. С этим тёплым лёгким чувством ты засыпаешь в последнюю перед дальней дорогой ночь. И тогда я подумала: спасибо, сердце, – я ненавижу тебя: останови поскорее этот чёртов пленительный фильм.

## КОРОЛИ АЦЕТОНА

1. Терпеливые короли ацетона, распространение ночных звуков, их жутковатая сумма, проносящая свои неподвижные сцены вдоль берега зимнего моря, над безустыми листьями клёнов, – непредставимых ни среди этих ущелий, ни между подводными пальцами льда, флюгеров, нитей песка, островных сумерек, безостановочно открывающих тёплую летнюю книгу, в которой не встретятся электронная магма, арифметический луч и обескровленный танец теперь уже зимних недвижимых корней, не выходящих на свет, разрывая безбедный слой почв, встречая нью-йоркский асфальт, гудронный рассвет, шелест медицинских столовых, кладбищенских тёплых узилищ молниеносную неподвижность, фортификации тающих юных тел, не узнающих света свободы, не увидевших встречу наших растерянных взглядов в петербургском апреле, под неприметными зимними звёздами Сан-Франциско.

2. Парк обрывается у железнодорожной насыпи. Там, взобравшись на ольху, свернулся неприметным для пассажиров проносящихся поездов клубком один человек. Если смотреть снизу, он выглядит серо-коричневым комком – окружностью с диаметром

приблизительно 50 сантиметров, слегка прикрытой листвою – то раздвигающейся порывом ветра, делающим комок более приметным снизу, то сдвигающейся, лучше скрывая прячущегося. Все мы помним его лучшие годы, когда ольха стояла необременённой, под ней находился детский инвентарь, мамы приводили туда своих детей. Так было лишь до некоторых пор. «Смотрите, кто-то спрятался на дереве, между листьев! Пойдёмте-ка нахуй отсюда!» Теперь под ольху приводят только собак, рядом площадка для дрессуры, неподалёку – танцпол для пожилых по выходным.

## ЗИМНЕЕ МОРЕ

1. Но теперь не бывает так, чтобы в этих узилищах, плача, смеясь и танцуя, – открывали волшебные книги, в них читали про море и свет, про опадающих листьев влагу и умеренных свежесть слов, столь уместных в минуту прощальных заминок, в несостоявшейся встречи фантастическую секунду, пока молнией шаровой разгорается мозг головы, – и тогда, орошая кровавых лучей дождём невозвратных грамматику дней, возвращается музыка взгляда, и утолённого вожделения тень, укрывая безвредные вещи, падает не на них, а на сумму последствий: для бесконечного, теперь уже зимнего моря – исчезновение волн; для разорённого города – обращение в пустошь; для источённых лучей – возвращение к источнику, но – не света, а – 1) времени, 2) музыки и 3) воды: и тогда, наконец, в этом тихом растерянном парке, в заповеднике чёрных лучей, на работе и дома, – увидишь меня, увижу тебя; но во имя исполнения всех условий, для воссоединения обстоятельств, – больше не будешь тобой.

2. По ночам питомцев отпускают погулять в саду. Гулять разрешается только на четвереньках. Необходимо знать, кого называют «питомцами». Некоторые люди среднего возраста и старше не могут обходиться без посторонней помощи. Подобные люди содержатся в данном психоневрологическом интернате. Покидать территорию данного интерната запрещено. Для того, чтобы сделать это, беспомощным питомцам, отягощённым неизлечимыми заболеваниями, поражающими нервную систему и, нередко, опорно-двигательный аппарат, пришлось бы преодолеть кирпичный забор высотой примерно три метра, утыканный сверху кусками битого стекла, посаженными на застывший бетон. Ночью, под дождём, либо в безоблачной лунной прохладе питомцы выбирают во двор и, опустившись на четвереньки, неспешно передвигаются по земле, делая долгие передышки у выкрашенных белой краской яблоневых стволов, изредка находя в траве под ними полусгнивший плод и жадно его поедая.

## ГЛАВА III

### ОДИННАДЦАТЬ ИЗЛИШНЕ ПРЕДАННЫХ СОБАК

1. Звёзды, обрывы, числа, глаза, чтение, зубы, язвы, зазоры. Призраки покусения. Фиолетовый пудель. Серый свет линий, разделяющих пространство на абсолютные

секторы, в каждом из которых, как в провале, вызревает в лабораторной колбе пляшущая густота. Именно она становится источником разделительного света. *«Марсель Дюшан сидит на стуле. Тонкая белая верёвка, стягивающая его шею, устремляется вверх. Туда, где её держит невидимая рука времени. Летом, лишь только расцветает лёд, – не услышать успокоительных фраз. Вы: зелёный лес, бесконечный пейзаж, звонкий чёрный ручей, – я теряю вас навсегда.»* Помню, как ворочался всю ночь – зная, что она последняя. Но не зная, как покрепче прижаться к тебе, хорошо спящему, и стоит ли прижиматься. Или – просто уснуть, готовясь и уже приступая к забвению. *«Маленький домик в саду. Раскачивающиеся над крышей секвойи. Под ними выстроена шеренга людей, которых сейчас расстреляют. Один из них хочет создать повесть о предварительных событиях. Об узорах инея на изнанке линз. О запечатлённом распаде зеркальной руины. О стальных коврах крови. О том, как страшно подумать, что люблю тебя. И гораздо страшнее – не думать.»* Помнишь ли, о чём говорили перед окончательным прощанием? Речь шла о художнике, который увидел большой чёрный предмет, совсем лёгкий. Этот предмет являлся желудком неизвестного человека, наглотавшегося моментально схватывающейся строительной пены – и так погибшего. Ты был в длинном пальто. Держались морозы. Решено обойтись рукопожатием. *«Возвращаясь домой, Элеонора роняет ключ, чтобы затем вынуть его изо рта, когда, опустившись в кресло, уснёт, войдя в дом, и увидит сон об извлечённом изо рта ключе, превращающемся в нож, которым она зарежет себя, не успев уснуть, не попав в дом, не подняв упавшего ключа.»*

2. Одиннадцать излишне преданных собак тоже заметили, как перевернулась, дважды искупавшись в своей синеве, новая луна. Из-под её взгляда, как из застарелого нарыва, вырвался государственный ветер, одаривший незаметностью и растерянной беспричинностью знак равенства, сжатый между полным забвением и китайской казнью. Усвоенное вместе с ветром и составом воздуха, окончательно проникшее в кровь, расставив там свои силки и плотины, чувство потерянности. Сотни огней, дрожащих вдоль ночного Big Sur никчёмной насмешкой, инверсией звёзд, без которых так свободно и тихо в этом небе. Молчаливая готовность равных звёздам птиц, замолкших, придать любому факту статус невозможного исчезновения, оправдывая душераздирающую абсурдность пейзажа, лишённого малейшей возможности для манёвра. Отпустить клавишу боли? Не слишком ли велик риск, что всё, включая сохраняемый кем-то из неведомых соображений нелепый ландшафт, обрушится, словно готический витраж? Словно утраченная структура личной души. Словно плоть времени, из которого не обратиться в бегство, а только в прах. Туда, где тьма не знает изгиба ни улицы, ни любой иной перспективы, куда облако не приносит свои слои. (Куда воспаряют, падая в свои тушки, проснувшиеся птицы. Недоступное, невозможное животное существование, лишённое самосознания. Разве только кошмарный сон, всего один: проснуться не птицей, а камнем или бесформенной лужей, но затем – всё равно – взлетая.) Есть норма потребления боли – суточная, годовая, жизненная: ты не знаешь о ней, но хотел, чтобы такое обязательно было. Есть особый тип зрения, у некоторых животных, позволяющий видеть в темноте. Есть Bodega Bay, Mrs. Bates, танцующий скальпель кита, рассекающего волну и взгляд на волну. Что насчёт четырнадцати излишне преданных собак побережья? Ты сам видел, как они были пойманы посредством специальных петельных орудий. Далее всем четырнадцати туго стянули шеи, соединив связку одним прочным тросом. Так, все вместе, соединённые в одну связку, они и были повешены. Одиннадцать излишне

преданных собак побережья.

## YOU CAN'T BEAT L. A.!

1. Слышишь сад? Тихо поёт солнце над ним, звенит невидимый колокольчик. Река оставляет своё течение просто быть, сама же обращаясь в прах и бегство. Беспечно раскинув руки и ноги, неказнённый засыпает под эвкалиптом под шумный трепет далёкого водопада. Не видит ничего из-за близорукости, превратившей сад, реку, город, озеро, магазины и собак, автомобили и небеса – в одно нечёткое, смывающееся, дымящееся месиво. Будто мир тлеет – а не горит, как этот сад. И когда наконец уснул и окончательно ослеп, то просто решил, что всё в конце концов для полного порядка и спокойствия сгорело. Несколько фотоснимков, *плоская Смерть*, составляли иконостас на каминной полке, перед которым мог наконец, не опасаясь самого себя, опуститься на колени. Заставляя себя проживать отсроченную, но теперь уже неизбежную гибель. Если бы только можно было видеть богов, как легко они ступают по нашим дорогам, водят быстрые фургоны с прицепами, заходят в KFC, заказывают картошку и крылышки, поедают и исчезают, – как легко он думал бы о личной, не плоской, смерти. Как легко я вытерпел бы присутствие любых людей, теперь презренных и невыносимых из-за саднящего чувства, что каждый из них – не ты. Что никогда не кончится их упругое, упрямое, уродливое шествие сквозь уши, глаза и сердце. *Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам*, – предпослал эпиграф своему неудачному, заброшенному эссе о беспомощности, тревоге, разорванных розах под столиком корейского кафе, откуда отправился домой, чтобы остаться одному. И, что на самом деле бывает с каждым, зашторить окна, сидеть тихо, просовывать монетки в копилку-собачку, глядя в окно, на медленно плывущую над туманом облачную грядку, пресекаемую редкими дымными столбами. На каждой фотографии, ты видел, это был улыбчивый и такой же любимый человек, которого из-за смены образа жизни уже нельзя было узнать. Он немного пополнел, но дело было в другом. Как будто изменившийся состав воздуха, часовой пояс, погода и ветер, легко перемещавший семена и песок из одного штата в другой, такая работа, – воздействовали на физиологию, и вместе с ней – на психику, физиономию, выражение глаз. И хотя почти ничего не знал о нынешнем его доме, всегда видел лаконичный беспорядок, пыльные апельсины, телевизионный пульт с утраченными кнопками, жёлто-серые салфетки, которыми сатана неустанно выстилает необъятные поверхности, целые пустыни обывательских комодов. Да, я слишком долго, слишком много писал тебе, говорил с тобой, а ты не слышал; и только теперь, когда окончательно потерял тебя, – теперь уже точно никуда не исчезнешь. Если смерть не врёт. Так, заблудившись среди расколотых останков внутренней речи, успокаивал себя, не замечая, что голос и мысль уже расслоились, разбегаясь по тонким ветвям распадающихся воздушных альвеол, растворяясь, исчезая, рассыпаясь пылью из высоких розовых бутонов, по ту сторону дымной, далёкой, бог весть куда несущейся реки. И затем, то ли во сне, то ли заблудившись среди тяжёлых ядовитых цветов, – видишь свой любимый автопортрет, но с чёрной ленточкой в уголке, и берёшь его в руки, подносишь к губам, дышишь на него, чтобы изображение растаяло, чтобы каждый цветовой регистр иссяк и



замолк, и распался растр, раскрывая внутреннюю глубину изображения, бурлящего жёлтыми, гадко набухшими узлами. Они лопаются – и время отвратительно брызжет наружу, во все стороны, затопля серую разрушающуюся почву.

2. Свободное некогда пространство занято ничем не примечательными капсулами, каждая из которых имеет оригинальный механизм преобразования тела. Внешне они кажутся совершенно безопасными, так как похожи на телефонные будки или торговые лари. Но стоит кому-нибудь попасть внутрь, как механизм автоматически приходит в движение. Вероятно, целый поток вращающихся острых спиц обрушится на лицо, грудь, живот. Или душераздирающая музыка замкнутости достигнет плотности, от которой воздух воспламенится, – и вошедший сгорит, как сухая щепка. В твоём же случае – капсула просто схлопнется с тихим звоном (будто в какой угодно самой малой точке наступила зима), превратив своего узника в тонкий сухой лист мяса. Вместо лабиринтов бреда о посмертных похождениях души – каталог фотографий, чьи различия исчезающе малы. Либо проецируемый на этот тонкий сухой лист видеофильм, показывающий неподвижные зоны свободного некогда пространства, объединённого только динамикой цветовых сдвигов. Что наконец позволяет в мельчайших деталях разглядеть казавшееся неприступным, бесконечно далёким и замкнутым дно провала, над которым слышен шорох песчинок, комьев – сгустков серой породы, отъединяющихся от грани обрыва. Оказывается, там, внизу – только зрение. У него тоже есть предел, который едва ли наступит, потому что время устранено: как и всё остальное, поглощено тягуче вращающимися на дне провала сгустками – чёрными узлами, медленно перекипающими друг в друга, беззвучно выстреливая вверх невысокими солёными пучками тугой эмульсии.

## ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

1. Нельзя опаздывать на поезд, ни в коем случае, никогда: он запомнит это надолго. Навечно. Думал, успеет добежать до своего вагона за две минуты. Дверь захлопнулась перед носом, поезд медленно тронулся, быстро исчез. Ночью на вокзале собрались... он даже не знал, как их назвать. Лучшие люди планеты? Попытался затеряться среди них, но не вышло, слишком выделялся. Когда всех выгоняли на улицу, он притворился спящим. Его разбудили, убрали скамейку, проверили документы, началась повсеместная уборка. Человек в пылесосе, напоминающем *golf car* (неверно: скорее, *paratobile*), неторопливо раскатывает по залу. Решил спросить, можно ли остаться здесь, я просто опоздал на поезд, мне некуда пойти, сразу получил отрицательный ответ, попытался покинуть вокзал, но обнаружил, что все двери заперты. Не осталось ни одного бездомного, командировочного, путешественника, паломника, торговца, никого, только он – и люди в тёплой чёрной одежде, с рациями и дубинками, пресекающие как любую попытку остаться на вокзале, так и всякое поползновение покинуть данное место. Он подумал, что, наверное, сможет укрыться в туалете, дожидаться там благополучного утра, спустился в подвальный этаж, большая стеклянная дверь была заперта, дежурная туалетчица спала за стойкой у турникета с табличкой «35 рублей». Он постучал кулаком в дверь, женщина проснулась, показала *fuck* и снова погрузилась в сон, перестав отвечать на позывные стука. Он

вспомнил, что осталось последнее, камера хранения, уж она-то должна работать круглосуточно. Он не ошибся. Ночь была длинной. Войска собирались на штурм.

2. Вновь повторяется сцена в лесу, лесная сцена. Идём по свежему сверкающему снегу, и вокруг будто ландыши или подснежники расцвели, и жирные плоды тянутся в руки, свисая на тонких ниточках с веток сосен, и на дне ручья, на светлой пустой веранде, на станции, в земле, в центре озера, в середине неба вращаются и тают, слипаясь в обратном танце, дымные кости слов. В ничтожно-умилительные ночи, до отказа набив кожаную заплечную сумку мясом волчьим, идёт по лесу, ноги стирая в дым, – пока не выходит на серую пустошь, словно скопированную из американского фильма про высадку на поверхность Луны, и там, где нет ничего, слышит: гудок паровоза, и оловянные трубы, литавры, барабанный гонг и шорох грампластинок. Но не прибывает поезд, а только звучит. И тогда, лунную дорогу разбивая в фарфоровую оседающую на неподвижно разомкнутых губах пыль, – совершает посадку авиалайнер, будто толстокожая рыба падает в раскалённый песок. И когда откидывается, ужом извиваясь, трап, и сходят по нему счастливые, рыдая, долетевшие, и смолкает оркестр, и стеклянная дохнет рыба, – и вижу среди всех пассажиров последним по трапу спускающегося – тебя. И тогда, не веря глазам своим, бьёт себя по морде дохлой рыбой, трижды плюёт на запад и пронзает себе голову иглой в трёх местах, чтобы убедиться, что видит не сон. И заново открыв глаза – вижу тебя, и твоё возвращение тебя, который и есть – ты. Черноволосо-застенчивый и снежный, с угловатых губ по-беличьи слетающими словами подзываешь к себе, – и тогда, во-первых, умирают танцующие в дымном небе ненужные отныне слова. И, во-вторых, тают кости в телах, оставленных душами. И растворяется, в-третьих, фарфоровый песок на твердеющих губах улыбок. – Но лишь раскрываются настоящие глаза, то видят – только плёнку краин, их пустые окна, за которыми нет ни света, ни тьмы. И открыв глаза, снова открываю – и знаю, что тебя всё так же нет – и уже не будет никогда, – как не будет слёз или спичек у рыб, и всё это – подлая галлюцинация, и жизнь моя – отплясала.